

Юрий Яковлевич Яковлев

Страсти по четырем девочкам

Мистерия (фрагмент)

Песнь пятая

Может быть, вместо сухого листка на воображаемом занавесе моего Театра следует изобразить ветвь цветущей сакуры? Но это прекрасное цветение не вечно – настанет время, когда вместо легких лепестков в руке остается алая капля крови. Тяжёлая капля.

Однако сухой лист на снегу снова напомнил о себе. От порыва ветра он шелохнулся, зашуршал – и я очутился в школьном саду в пору листопада. На дорожках лежало множество прекрасных кленовых листьев. Их сметали и безжалостно жгли на медленных кострах, от которых, как от курильниц, шёл горьковатый, щемящий сердце дымок. Мне захотелось спасти эту красоту от огня, и я стал собирать листья, которые особенно приглянулись. Их оказалась целая охапка. Я не знал, что с ними делать, но тут мне в голову пришла несусветная мысль: оклеить стены класса кленовыми листьями.

В пустом классе закипела работа. Я не просто наклеивал листья – я рисовал на холодной стене фантастическую картину: листья – жёлтые, зелёные, бурые, золотистые – были моими красками. Стена оживала, превращалась в осенний сад.

В этот момент я был не клейщиком обоев, но художником и так увлёкся творчеством, что не заметил, как в класс вошел суровый завуч.

– Что это? – сухо спросил он.

– Это... красота, – ответил я.

– Но здесь класс!

– Разве в классе не должно быть красиво?!

– В классе должен быть порядок. Сорви! – приказал он. – Немедленно!

Я подошел к стене. Прямо передо мной один листок наполовину отклеился и трепетал на сквозняке, как крыло бабочки. Он был охровым, и на его поверхности, как кровеносные сосудики, проступали алые жилки. И я подумал, если я оторву его – потечёт кровь!.. Я заплакал и бросился к двери.

Где ты был в это время, Аполлон? Почему не подстегнул свою квадригу и не примчался спасать красоту? Или ты думаешь, что красота – это только театр? А может быть, ты рассуждаешь как суровый завуч: красота и порядок несовместимы?

Я вспомнил об этой прекрасной стене – стене кленовых листьев – в одноэтажной американской школе, в классе, где училась Саманта Смит. Я смотрел на стенку, и мне казалось, что когда-то она вся была в кленовых листьях и что это Саманта решила на такое. И это роднило меня с ней.

Рядом со мной стояла ее Мама – Джейн. У нее были такие же глаза, как у Саманты. Не просто похожие, а такие же.

Древний театр Колизей напоминает огромный мёртвый термитник. Когда-то в нем кипела жизнь. В его аркадах и ярусах, как муравьи, сновали люди. Они согревали камень – там бушевала жизнь, кипели страсти. Теперь античный театр никому не нужен, – мёртвый термитник, покинутый муравьями. Полуразвалившиеся стены. Нет крыши. Впрочем, крыша от времени не пострадала, потому что крыши никогда не было – её заменяло небо.

Я представил себе, что Колизей – мой Театр. Представил себе, как он вместе со мной взлетает в небо вместе с аркадами, переходами, галереями и ареной – этакая летающая тарелочка в миллионы тонн весом. Но это я фантазирую. Разминка фантазии.

На самом деле мой Театр – это я сам, и никаких Колизеев!

В моем Театре нет репетиций, и третий звонок может прозвучать в любое время суток, ночью или на рассвете. Может застать меня в постели, в пути, в полете. Может со мной отправиться в полёт.

Но взлететь не так просто, даже если с тобой два таких верных помощника, как Пьеро и Арлекин. Этим помощникам самим надо помогать. И всё же, когда рядом бьются два горячих сердца и полные удивления глаза доверчиво смотрят в щели маски, чувствуешь себя не так одиноко.

Самолёт завелся легко и разочаровывающе просто, как обыкновенная машина: поворот ключа, рев стартера, треск – и пропеллер завертелся юлой, постепенно превращаясь в мерцающий диск. Короткий разбег – тоже автомобильный! – и наш четырёхместный самолётик оторвался от земли и как бы завис над золотыми чешуйками морской зыби.

В полёте ощущение скорости теряется, и, когда хозяин самолёта Джой предложил мне взять в руки штурвал, я легкомысленно согласился и тут же пожалел, но отступить было поздно: в моих руках оказался маленький штурвал – судьба полёта.

Так вместе со мной в небо взлетел мой Колизей, мой Театр.

Два моих спутника ровно дышали мне в затылок – для них полёт был неожиданностью, да ещё с таким неопытным пилотом: я впервые в жизни вел самолёт. Но потом им в голову пришла спасительная мысль – ведь это Театр. А в Театре все возможно! И безопасно.

Постепенно я освоился с новым положением и смог заглянуть вниз. Океан кончался, впереди за линией прибоя следовал зелёный массив леса. Я слегка отпустил от себя штурвал – зелёные пирамидки ёлок стали стремительно приближаться. Стоп! Штурвал на себя – взревел двигатель, самолётик полез в гору. Мимо пронеслось небольшое рваное облачко. Я почувствовал лёгкость. Страх новизны обстоятельств развеялся. Теперь я уже спокойней разглядывал всё, что проплывало под нами. Мне показалось, что я знаю эти места, более того, пролетал над ними. Вот засверкали на солнце весёлые стёклышки теплицы, в лесной чаще возникло овальное озеро, на перекрёстке дорог под крылом проплыл готический колышек церкви. Откуда я знаю эти места? Эта мысль сверлила сознание. А тем временем вокруг нас стали происходить перемены.

Стало темно. На ветровом стекле замелькало многоточие начинающегося дождя. Самолёт бросало из стороны в сторону, вызывая тоску по твёрдому грунту. Потом, как в скоростном лифте, машина стремительно пошла вверх, а сердце упало и холодным комком ощущалось у диафрагмы. Шквал усиливался. Ветер не просто бросал нашу лёгкую машину, он мял её, как комок глины, и вместе с машиной мял меня. Я отчаянно сжимал маленький штурвал, похожий на баранку детского педального автомобиля. Но разве можно было противостоять силе этого бешеного шквала!

Сперва мне показалось, что я остался в машине один. Но через некоторое время почувствовал, что кто-то дышит мне в затылок. Я на мгновение обернулся: за моей спиной сидела девочка. Я не сразу узнал Саманту: при вспышке молнии её лицо казалось неземным, серебристым, флуоресцирующим. Как мы очутились вдвоём в

попавшем в беду самолётике? Чувство тревоги переполняло меня. Теперь это был не страх за себя, а нечто более глубокое: беспокойство за девочку.

– Ты не боишься? – спросил я Саманту и не услышал собственного голоса.

– Скоро мы прилетим, – отозвалась девочка, но её голоса я тоже не услышал, в моём представлении она должна была ответить так.

– Мы уже близко, – утешил я свою спутницу.

Этот шквал с дождём размыл все границы стихий, и разобрать, далеко или близко, было сложно.

– Я потеряю, хотя мне надоела эта болтанка, – донеслось до меня с заднего сидения. И я понял, что Саманта не боится. Она вообще была бесстрашной девочкой.

А может быть, и я зря беспокоюсь? Ведь это Театр, мой Театр, только и всего. И самолёт поэтому не падает в волны и не задевает крылом сосны, растущие на холме. Это – Театр!

Но мой Театр тем и отличается от обычного, что в нём, расталкивая локтями помрежей, на сцену врывается жизнь со своими законами, со своей неотвратимостью. И никакой великий Станиславский ничего не может сделать: Театр живет по другим законам, по моей системе, а не по системе великого реформатора.

Я устал от этой мучительной правды. Я не знал, где выход. Самолёт то стремительно мчался, то замирал на месте. И шум двигателя заглушал рёв бури.

«Саманта... Саманта... Саманта... – шептал я, – почему ты не дышишь мне в затылок?»

И вдруг знакомый голос:

– Эй, не спи! У тебя в руках штурвал самолёта! Мы можем гробануться.

Я открыл глаза. Светило солнце. Макушки деревьев проплывали под крылом, а стволы были тоненькими, как спички.

– Что тебе, интересно, снилось?

Что мне снилось? Разве я спал?

Мне снился полёт. Скрылись дали земные.

Удобное кресло. Ремни привязные.

И солнце, и облако – всё под рукой.

В глазах стюардессы небесный покой.

Мне снился полёт. Вдруг ударило в спину.

Мгновенно огнём охватило машину.

Сосед обезумел: хочу умереть!

А я всё равно продолжаю лететь.

Мне снился полёт, бесконечный и краткий.

И понял я вдруг, что не будет посадки.

Но жить всё равно я безумно хочу.

И я вверх ногами, но всё же лечу.

Мне снился полёт, а когда я проснулся,

То благополучно на землю вернулся.

К окну подошёл – меня бросило в пот:

И здесь продолжался безумный полёт.

Самолёт летел низко, чуть ли не касаясь крон деревьев. От ветра с залива машину слегка покачивало. Пьеро и Арлекин притихли. Не знали, как расценить мой странный сон.

– Я не согласен лететь вверх ногами, – сказал Арлекин, – хотя во сне не имеет значения, как лететь. Ведь это был сон?

– Случается, что жизнь похожа на сон, а сон похож на жизнь. В природе много странного, – философски заметил я, мне оставалось только философствовать.

– В твоём Театре тоже не так просто разобраться, – пробурчал Пьеро. – У меня от этого сна дурное предчувствие.

– Может быть, опустим занавес и – конец мистерии, – предложил Арлекин.

Я оглянулся – на меня в упор отчужденно смотрели две маски, одна улыбалась, другая хмурилась, вот и выбирай, к чему склониться. Я сказал им:

– Мистерия продолжается помимо нашей воли. Мы сами выбрали роли в этом спектакле.

– Но мы не уговаривались отправляться в путь с пилотом, который в первый раз держит в руках штурвал и может в любую минуту полететь вверх ногами?

– Мы можем вывалиться, – испугался Пьеро.

– Там есть привязные ремни, – бросил через плечо мой сосед, хозяин самолёта Джой, и принял из моих рук штурвал. – Идём на посадку.

Маски успокоились.

И снова перемена декораций и... настроения. Где-то близко зазвучала весёлая песенка про эти места, она как бы выкристаллизовалась из общего настроения. В моём Театре и такое возможно.

Над крышами Манчестера,

Над солнечным бугром,

Как будто из Винчестера

Палит весенний гром.

Все зелено от озими.

Туман в траву прилёт,

И парус поднял в озере

Свой белый уголок.

Весёлая скакалочка,

Как радуга, взлетай.

Весёлая считалочка,

Кому водить, считай!

Самолёт коснулся земли и побежал вразвалочку по не очень ровной полосе маленького аэродрома. И мы выпрыгнули прямо в траву.

А теперь – так развивается действие – представьте себе девочку, бегущую по утреннему лужку. Высокая трава, как собака, трётся о её ногу. Каштановые, пахнущие солнцем волосы разметались от бега, спадают на лицо, и девочка встряхивает головой, чтобы отбросить их назад. Большие глаза наполнены небом, длинные реснички вздрагивают, как веточки. От частого дыхания рот полуоткрыт, два верхних зубика чуть крупнее остальных. Веснушки как след солнца. Майка с пеликаном на груди. На коленках ссадины едва зажили, покрылись корочкой, как сургучом... Она постоянно в движении, в игре. И с её губ срывается считалочка:

А у нас в штате Мэн

Жил весёлый джентльмен:

Он ужасно любил крокодилов

И на ферме своей разводил их.

А ему крокодил

Как-то раз не угодил:

Он состроил хозяину рожу,

И хозяин содрал с него кожу.

– Тебе водить! – воскликнула Саманта и ткнула пальцем в грудь Пьеро.

– А я и не играл, – растерянно сказал Пьеро.

– Ты с неба свалился?

– Не сваливался я... приземлился.

– Ладно! – Саманта махнула рукой. – Только не хмурься. А то от выражения твоего лица, как от зеленого яблока, во рту становится кисло.

– Это не я... это маска такая, – оправдывался Пьеро, но Саманта уже не слушала его. Она подошла к Арлекину и спросила:

– Ты знаешь петушиное слово? Не знаешь. А известно ли тебе, как поёт английский петух?

– Петух со знанием английского языка? Скажешь тоже!

– Разве петухи во всем мире поют не одинаково? – спросил Пьеро.

– В том-то и дело, что по-разному. Наш петух поет по-английски: кок-э-дудл... кок-э-дудл!..

Пьеро и Арлекин переглянулись и вслед за Самантой повторили: Кок-э-дудл! Кок-э-дудл!

– А французский петух поет иначе: ко-ко-рику... ко-ко-рику!..

И два друга тут же изобразили пение французского петуха:

– Ко-ко-рику! Ко-ко-рику!

– А шведский петух, – продолжала девочка, – поет по-шведски: у-ке-ли-ку... у-ке-ли-ку!..

Арлекин и Пьеро произнесли шведское петушиное слово:

– У-ке-ли-ку! У-ке-ли-ку!

– А как поет русский петух, вы, конечно, знаете?

И тут же все трое запели: ку-ка-ре-ку! И им отозвалось эхо. И весь мир заполнился петушиным пением, словно на земле жили одни петухи и каждый пел на своём языке. И долго ещё не умолкал разноязыкий петушиный оркестр. Но вот он затих. Настроение изменилось. На голове у Саманты появился венок из кувшинок.

– Сейчас мы разыграем спектакль. Я буду Офелией. А вы будете... Вы так и останетесь – Пьеро и Арлекин. Согласны?

– Офелия, Офелия, сестричка! – воскликнул Арлекин.

И тут вступила Саманта:

Надет венок, распущена косичка.

На сцене омут, словно на картинке.

Вода синее, плавают кувшинки.

– Офелия, Офелия, сестричка, – воскликнул Пьеро.

– Офелия, Офелия, девчонка! – продолжил Арлекин.

И снова Саманта:

Прощай любовь, родимая сторонка.

Но в тёмном зале замер мой спаситель

В джинсовой куртке неприметный зритель.

Офелия, Офелия, девчонка!

– Офелия, Офелия, подруга!

На свете нету преданнее друга,

И мне не даст он утонуть в пучине.

Он вынесет меня в цветах и в тине.

– Офелия, Офелия, подруга!

– Офелия, Офелия, русалка!

Вдруг целой школе станет тебя жалко.

И мой спаситель вдруг сорвётся с места.

Чтоб ждать меня у школьного подъезда.

– Офелия, Офелия, русалка.

Как в мире все взаимосвязано! Время и пространство, которые, на первый взгляд, кажутся далёкими и несовместимыми, вдруг сходятся лицом к лицу. Люди, жившие в разные времена, становятся друзьями. Родственные души находят друг друга в разных уголках света.

Мой Театр – место таких встреч. Люди разных эпох могут встретиться только здесь. Назначайте свидания в моём Театре!

Так случилось, что на ступеньках Самантиного дома встретились все героини моей мистерии.

Саманта сидела на крыльце, когда перед домом появилась девочка в платке и ватнике. Больше всего Саманту удивило, что у незнакомки была странная обувь, похожая на ноги слона. У девочки было бледное изможденное лицо и запавшие глаза, полные тоски.

Девочка произнесла странную фразу:

– А куропатка съедает в день всего 22 грамма!

– Ты что, наблюдаешь за куропатками? – поинтересовалась Саманта.

– Я завидую куропаткам. 22 грамма им хватает. А мне сто грамм хлеба мало.

– Я дам тебе сколько хочешь хлеба! – воскликнула Саманта.

Неожиданную гостью она приняла за бродяжку.

– Спасибо. Теперь уже не надо. Блокаду прорвали. Война кончилась, – ответила девочка.

«Так вот она какая, война!» – подумала Саманта, и тихо сказала:

– Прости меня, ты, наверное, очень устала. Посиди на крыльчке. Меня зовут Саманта.

– А я Таня, – ответила незнакомка и села на ступеньку, согретую солнышком.

Потом появилась ещё одна гостья в голубом хитоне, сшитом из маминой нижней юбки. Её появление тоже озадачило Саманту. Большие тёмные глаза, верхняя губка небрежно прищепнута к нижней.

– Ты, наверное, актриса? – спросила Саманта.

– Да, конечно... Конечно, я – актриса. Я ужасно счастлива, а играю роль несчастной. Тебе нравится мое платье? Правда, вместо пуант у меня спортивные туфли. Хочешь, я прочту тебе монолог из моего спектакля?

Саманта продолжала разглядывать гостью-актрису, а Таня грелась на солнышке и всё не могла согреться.

Я говорю последнее «прости»

Фиалке, не успевшей расцвести,

Ведь я сама такая же фиалка.

Я будущего маленький побег,

Но нежный стебель засыпает снег,

И лепестков моих ему не жалко...

Стало удивительно тихо. Саманта задумалась, исподволь разглядывая гостей, и вдруг воскликнула:

– Девочки, вы обе с войны. Я знаю вас! Я читала ваши дневники. Вас прислало небо?

– Если человеческую память считать небом, то небо, – рассудительно ответила Анна.

И тут все заметили, что перед крылечком появилась ещё одна незнакомка, худенькая, в шёлковом кимоно. У нее были гладкие чёрные волосы и щёлочки-глаза, чуть припухшие снизу.

У меня болит головка.

Очень жесткая циновка.

Я испытываю муку,

Поднимая просто руку.

Я жива и не жива,

Сквозь меня растёт трава.

– Ты тоже была на войне?

– Нет, – ответила Сасаки, – война вселилась в меня. Война всегда со мной. Со мной... до самой смерти. Как хорошо, что у меня нет дочки и в неё не вселится моя война, как в меня мамина.

– Что же это за страшная война, которая передается по наследству! – воскликнула Саманта.

Девочки печально посмотрели на Саманту и молча ушли. Но Саманта почувствовала, что она не одна, что кто-то, чужой и опасный, находится где-то рядом. И зазвучал железный голос:

Я притаилась в mine ржавой,

Меня ребёнок в руки взял,

И потянулся след кровавый,

И проявился мой оскал.

Я мёртвой только притворилась,

И пусть Чернобыль вдалеке,

Но Хиросима повторилась

На мирной Припяти-реке.

Голос умолк, как железный лязг промчавшегося танка. И Саманта почувствовала войну так реально, словно та уже поднималась по нагретым солнцем ступеням крыльца и готова была ударом сапога выбить дверь и вломиться в дом.

«Из семейного альбома смотрит атомная бомба с человеческим лицом, со страдальческим венцом».

Девочка осталась с глазу на глаз с войной.

И тогда Саманта со всей силой почувствовала, что наступил момент, когда она может остановить войну. Она одна во всем мире. Вчера было рано, завтра будет поздно. Сегодня! И никто другой, только она. Она! Она!

Когда в обыкновенном театре по ходу пьесы наступает ночь, осветители убирают свет, а рабочие сцены по команде помрежа поднимают на блоках жёлтую картонную луну. В моем Театре всё иначе. И ночь настоящая, и луна не картонная. И девочка самая натуральная...

Луну, как мяч, качают реки.

Огромный шумный мир затих.

Мечтают маленькие Бекки
О Томах Сойерах своих.
Потом уснут на полдороге
С любимой книжкой в руке
В давно забывшем про тревоги
Американском городке.
Чего же ты не спишь, Саманта,
Не улыбаешься во сне?..

В длинной ночной рубашке до земли она сидела на стуле, поджав ноги, а перед ней лежал листок из школьной тетради.

Саманта оглянулась – за ее спиной стояли Пьеро и Арлекин. Только на них были не обычные театральные маски, а противогазы, и на резине кто-то намалевал рожи – веселую и грустную.

И вдруг девочка увидела себя на сцене Театра. Она стояла на самом краю сцены, а дальше вместо оркестровой ямы была бездна, провал. А за ямой-бездной – зрительный зал, полный людей, и все они, эти люди, были в противогазах, и на каждой резиновой маске было нарисовано лицо. Это были не лица, а насмешки над лицами – гримасы. Казалось, каждый прятал своё подлинное лицо от войны. Такие это были страшные прятки!..

Всё это множество людей, сидящих в зрительном зале, смотрели на Саманту сквозь круглые маленькие иллюминаторы своих масок. И девочка казалась им прекрасной уже потому, что была без маски. Каштановые, пахнущие солнцем волосы разметались от бега и спадали на лицо, и она встряхивала головой, чтобы отбросить их назад. Большие глаза наполнены небом, длинные реснички вздрагивали, как веточки... Она была так прекрасна, что люди поверили: красота спасёт мир... Саманта спасёт мир... Спаси нас, Саманта, мы уже стали масками, а ты не потеряла лицо, на тебя вся надежда! Иди к нам, дитя мира!

Саманта уже хотела сделать шаг, занесла ногу над бездной... и попятилась, но не испугалась, а просто поняла бессмысленность шага в бездну.

И тогда сцена пропала, маски слились в туманное облако. Саманта снова очутилась дома, в своей комнате. На столе лежал листок бумаги, вырванный из тетради.

Что делать? Молиться? Молить? Требовать?

Рука с трудом выводит буквы,
В конце строки, как крюк, вопрос.
Я узнаю твой почерк круглый,
Его знакомый перекосяк.
Не знаю, страх или отвага,
Что движет детскою рукой.
Как может выдержать бумага
Не вспыхнуть под такой строкой.
И слышит девочка сирену,
И видит близко тень крыла,
Огонь, и рухнувшую стену,
И звон разбитого стекла.
Все небо – ядерное пекло.
Одно мгновенье – малый срок,

И превратился в груды пепла
Американский городок.

Пьеро и Арлекин, как два ангела-хранителя, стояли за спиной Саманты и широко раскрытыми глазами следили за движением её руки.

Кричит ночная птица тонко,
И морем пахнет от травы.
Американская девчонка
Защиты ищет у Москвы.
Она надеется при этом,
Что там, в Москве, её поймут.
Придёт ответ, и с тем ответом
Надежды сразу оживут.
И вместо ядерного страха
Жизнь станет легче и ясней.
Ночная длинная рубаха
Коленки закрывает ей.

Дети не бывают пророками. Но порой в реёнке скрыта такая великая сила предчувствия, какой не обладает ни один взрослый. Это сила проявляется неожиданно, и ребёнок сам до конца не понимает, насколько важно для людей может быть его слово.

Вчера было рано, завтра будет поздно. Сегодня! И только она. Саманта.

Люди, посмотрите в окно. От пробуждающейся природы воздух кажется зелёным. Веточка тополя с острой почкой напоминает куриную ножку с золотым коготком. А березы белые в полосочку, как завернуты в газету. Под этой «газетой» уже бродит весенний березовый сок. Поют птицы. Облака заполнены не снегом, но дождём. Откройте окно, впустите в свой дом запах земли, запах жизни. Солнце дробится в больших лужах на множество зайчиков... Жизнь продолжается. И может быть, этим наша земля сегодня обязана Саманте.

Той ночью Саманта всё же была пророком. Но утром она снова стала обыкновенной девочкой.

Ее фантазия моментом
Легко меняет всё кругом:
Том Сойер станет президентом
И с Бекки вступит в Белый дом.

Похожий на гигантский термитник римский театр Колизей был жестоким театром. Артисты этого театра, гладиаторы, выходили на сцену не с бутафорскими мечами. И никаких условностей! Сражались даже не до первой крови, а до гибели одного из соперников.

Испанцы одного из действующих лиц в кровавом театре заменили быком, появилась коррида. В ней тоже один из соперников должен был пасть на арене, как на поле боя. Как правило, погибал бык.

Но у действующих лиц жестокого театра прошлого был шанс.

Один из актёров – гладиатор – оставался лежать бездыханным трупом, но другой, не упустив своего шанса, возвращался с триумфом, под гром аплодисментов.

И в корриде даже у быка есть шанс. И хотя его соперник-человек существо более хитрое, более опытное, подлое, случалось, что простодушный бык оказывался

победителем и с радостным мычанием убегал в хлев, оставив на песке мёртвого тореадора.

Даже у быка есть шанс!

В моём Театре ни у кого нет шанса, и если кто-то должен погибнуть, он погибает. Вот каким жестоким оказался мой Театр.

В Портленде бушевала буря. На море – шторм. Огромные волны обрушивались на берег. Якорные цепи скрипели от напряжения. Аэродром закрыла плотная завеса дождя. Самолёт на земле вздрагивал от порывов ветра.

– Пусть она не летит, – предложил Пьеро. – Пусть дождется утра.

– Пусть этот идиот-диспетчер не даёт взлёта, – поддержал товарища Арлекин. – Он же имеет право. А лётчик – самоубийца, что ли?

Но как отменить полёт Саманты, если он был.

Не Театр жесток, жизнь жестока.

– Нам придется уйти из твоего Театра! – заявили мои помощники. – Мы больше не можем.

– Вы же знаете, что из моего театра не уйдёшь. Театр двинется за вами со всеми своими бурями и страстями. В моём Театре занавес не опускается, когда угодно господам артистам! Впрочем, в любом театре не артисты командуют парадом. Надо страдать, надо терпеть...

Пассажиры уже на местах. Лететь-то всего ничего – полчаса. Как-нибудь дотянем. Зато через час – дома! Близость дома пьянит и отвлекает от опасности. Кажется, в небе над родным домом ничего не может случиться. «Леди энд джентльмены, пристегните ремни!» О'кей! От порывов ветра маленький самолёт трясет как в лихорадке, но он уже бежит по взлетной полосе. Вот он оторвался от земли и, очертя голову, нырнул в месиво дождя и ветра. И его сразу стало кидать, кидать. Ничего, ничего, лётчик опытный, с закрытыми глазами долетит до Агусты.

Спектакль продолжается. А смерть уже стоит за кулисами, ожидая своего выхода на сцену. На ней – противогазная маска. Забыла она, что войны нет.

А моих спутников, Пьеро и Арлекина, уже подхватила волна событий, и они ничего не могли поделать – были в страшной власти происходящего. Напрасно сквозь гул ветра звучал их призыв:

Остановите самолёт
Хотя бы на мгновенье,
Чтоб только кончился полёт
За миг до столкновенья.
Остановите все сердца
Хотя бы на мгновенье,
Чтоб только не было конца,
Чтоб было продолженье.

Они держались из последних сил, всё ещё надеясь на новый поворот событий, всё еще веря в неограниченные возможности моего Театра.

А самолёт был уже так близко к родному дому. Высокие сосны, блеск озёрной глади и огонёк в окне родного дома. И полные тревоги глаза матери.

Самолёт теряет высоту,
Самолёт несется в пустоту.
А в конце ревущей пустоты
Камень, почва, мокрые кусты.

Лётчик снова делает манёвр,
Как с миноискателем минёр.
Если ошибётся он сейчас –
Ошибётся он в последний раз.
Смотрят люди из иллюминаторов,
В лицах безнадежность гладиаторов.

Что происходило в последние минуты на борту самолёта, не знает никто. Но мой Театр отрывается от земли и в эту проклятую нелётную погоду устремляется ввысь. Впрочем, для Театра не существует нелётной погоды все погоды лётные, все дни рабочие. И в нашей мистерии оживает последний разговор отца с дочерью.

– Что сейчас мне делать с девочкой моей?

Я боюсь не смерти, а разлуки с ней.

– Папа, всё утихнет... Папа, всё пройдёт.

Ветер прекратится... Солнышко взойдёт.

– Здесь иллюминатор – огненный экран.

Если б оказался под рукой стоп-кран!

– Где-то свет в окошке. Мокрая трава...

– Девочка, родная, ты ещё жива...

– Обожжённый ветер дышит горячо.

Хорошо, что рядом папино плечо.

– Я готов погибнуть, не об этом речь.

Мне тебя бы, дочка, только уберечь.

В небе страшный грохот, словно гром колёс.

Так, наверно, поезд мчится под откос.

– Папа, мой любимый, ты со мной побудь.

Мы перестрадаем вместе эту жуть...

И может быть, в последние мгновенья – театральное ружье выстрелило, появился бумажный Журавлик. «Глаголы здесь чудили, задачки с рельс сходили». Может, бился бумажным крылом в стекло иллюминатора.

Земля перед небом бессильная,

Напрасно друзей не зови.

Возьми моё сердце, Саманта,

Но только не гибни, живи.

Машина срывается в бездну.

Уже никого не спасти.

Возьми мои крылья, Саманта,

Но только не падай, лети... лети... лети...

– Стойте! Остановите действие! Опустите занавес! – крикнул в отчаянии Пьеро, и уголки губ на его маске опустились ещё ниже. – Мы думали, что нам в руки попала обычная школьная тетрадка, где задачки «с рельс сходили». Задачки, а не поезда! А в этой тетради все задачи неразрешимые. И на всю тетрадку всего один глагол: умер! Умер! Умерла, умерло. С одним этим глаголом невозможно жить.

– Подожди! – Арлекин положил руку на плечо Пьеро. – Мы же в театре. А в театре с древних времен существует «дэус экс махина» – бог в машине. И когда в трагедиях кто-то погибал, а публика не хотела, сверху на скрипучих блоках опускался «дэус экс махина» и вопреки всем законам драматургии выручал любимого героя. И

публика редела от счастья. Где «дэус экс махина»? Может быть, в театральном механизме что-то разладилось и «бог» не может вовремя прийти на помощь?

– Мы объявляем забастовку, – мрачно сказал Пьеро. – Мы уходим со сцены!

Каких только восстаний не знала история. Рабы, гладиаторы, ангелы восставали. Теперь в моем Театре восстали маски Пьеро и Арлекин.

Восстание масок! Мой театр рушится. Падают и разбиваются колонны. Горят декорации. С грохотом, подгоняя коней, умчался от греха подальше бог красоты. Как горный обвал, опускается железный занавес, чтобы обезопасить зрителей. Театр гибнет – зрители остаются.

Мой театр разоряют не варвары, а два простых мальчишки. Они обвинили Театр в несправедливости, в жестокости. Они никак не могли согласиться с тем, что в моём Театре не моя фантазия – на его сцене оживает уже состоявшаяся правда. Так было, и с этим ничего нельзя поделать.

Не учли мои юные спутники, что задним числом нельзя поделиться с Таней хлебом, нельзя увести Анну в новое убежище, нельзя вылечить Сасаки теми средствами, какими лечат детей Чернобыля, нельзя перенести рейс самолёта, на котором в штормовую ночь полетела Саманта. И ещё множество «нельзя». Ушло время.

Ушло и осталось. Осталось в моём Театре. И те зрители, которым достался лишний билетик, снова и снова встречаются с Самантой и слышат её голос. Откуда он доносится? Может быть, из вечности...

Какое зелёное небо,
Как будто растёт там трава.
Коровы по небу гуляют
Беспечно, спустя рукава.
Такое медовое небо,
Что, кажется, пахнет медком,
И хочется мне дотянуться
И небо лизнуть языком.
Такое прозрачное небо,
Как стёклышко, солнце блестит.
И это не облако вовсе,
А мыльная пена летит.
Внизу остается мой домик.
А я, устремясь в высоту,
По небу бегу на уроки
И в небе играю в лапту.

У вступающих в жизнь всегда большой запас времени. У них впереди возможность сыграть прекрасную, благородную роль в своём Театре. Ещё придется делиться хлебом, придется отдавать кровь, прятать от врагов хороших людей. Потому что, кроме прошедшего времени, есть настоящее и есть будущее время. Вы ещё можете сыграть много прекрасных ролей, можете выбрать роль по душе, по убеждениям. Это мне уже не выбрать другой роли:

Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колёс
Не читки требует с актёра,
А полной гибели всерьёз.

Эти строки не из Библии – это стихи Пастернака, но и в них библейский накал истины.

Мои спутники верно послужили мне, но настал момент, когда они сорвали маски, и шагнули со сцены в жизнь, и затерялись среди тысяч себе подобных. Их теперь не отличишь. Да они и в самом деле такие же, как все, только стали крепче духом, прошли школу моего трудного Театра. У них ещё нет своего Театра, но со временем обязательно будет.

Я остался на сцене один. У меня в руке сухой опавший листок – память о живых зелёных листьях. О них должны знать все. И пока я жив, в моём Театре будет подниматься занавес.

Я приглашаю вас в Театр! Есть лишний билетик? Миллион лишних билетиков! Для каждого желающего найдётся место в моём Театре. И когда спектакль кончится, мой Театр двинется за вами со всеми героями и декорациями – потому, что Театр вселится в вас.

Как трудно оставаться наедине со своим Театром! Но я чувствую: кто-то дышит мне в затылок. Я поворачиваюсь и вижу – это Пьеро и Арлекин. Кто на этот раз скрывается за масками?

Публикуется по: Яковлев Ю. Страсти по четырём девочкам: мистерия (<http://www.litmir.net/br/?b=72596>)